Один из них, случайно выживший…

Владимир Николаевич Корнилов

SHOUT
SHARE
IT

- Владимир Корнилов

Владимир Корнилов
Один из них, случайно выживший… (Воспоминания о сорок девятом годе)

«Знаменитое стихотворение К. Левина “Нас хоронила артиллерия” ходило по рукам всей литературной Москвы первых послевоенных лет. Левин, элегантный независимый холостяк, жил литературными консультациями, печататься не старался… По мнению Слуцкого — один из лучших поэтов фронтового поколения, запоздало присоединившийся к их плеяде».

Евгений Евтушенко.

Из предисловия к циклу стихов Константина Левина в антологии «Строфы века».

Стихи он писал с детства, но, сын врачей, по семейной традиции летом 41-го поступил в медицинский институт и после первого семестра был взят в противотанковое училище. Командовал взводом сорокапяток — сорокапятимиллиметровых противотанковых пушек, бивших по немецким «Тиграм» и «Фердинандам» прямой наводкой и с самой короткой дистанции. В такой артиллерии мало кто выживал. Оттого ее и прозвали «Прощай, Родина!». За четыре месяца фронта Костя был дважды награжден орденами Отечественной войны обеих степеней и дважды ранен: сначала в голову, затем ему миной оторвало ногу. В двадцать лет, сердцеед и красавец, он стал инвалидом.

Провалявшись с год в госпиталях, Костя услышал о существовании Литературного института и выслал документы в Москву. Приняли его со скрипом. Стихи показались приемной комиссии мрачноватыми. Так, в «Реквиеме Валентину Степанову» были строки:

И матери рвут со стен иконы
И, может, не только иконы рвут,
И бьют себя в чахлую грудь,
и драконом
Ошеломленного Бога зовут.

Разумеется, смущали комиссию не столько строки о Боге, сколько неясность: не портрет ли вождя, кроме икон, рвут со стен матери? Однако лето сорок пятого было сравнительно либеральным, и, снизойдя к его боевой биографии, комиссия зачислила Костю на первый курс. Так мы с ним познакомились и, хотя он был четырьмя годами старше, подружились.

Учился Костя хорошо. Лекций не прогуливал. Четким, с легким наклоном почерком конспектировал все, что читали профессора (по этим конспектам лентяи всего курса готовились к экзаменам). То ли за войну соскучился по учебе, то ли был с детства упорен и трудолюбив, но студента прилежнее Кости мне встречать не приходилось, хотя я перебывал во многих вузах.

Невысокого роста, стройный, он всегда был подтянут. Армейская форма без погон сидела на нем ловко, а уж в штатском и при галстуке он был невероятно элегантен. Лишь едва заметная хромота напоминала о ранении, но никто не верил, что у него нет ноги. Протез немилосердно натирал культю, однако Костя ни за что не пришел бы в институт на костылях.

Жил он бедно и в углах — не по Достоевскому в углах, а в самых реальных углах, то есть снимал в хозяйской комнате койку и тумбочку. Так продолжалось пять институтских лет и еще двенадцать — спустя. Доходы у него были скромные: стипендия и мизерная инвалидная пенсия. Отец и мать — они давным-давно развелись — помогали ему как могли, но возможности их были ограничены.

Однако Костя на судьбу не жаловался. Наоборот, старался выглядеть победителем жизни. В пивных (а в дни стипендии мы заглядывали в пивные принять сто грамм с прицепом, то есть вливая водку в пиво) он вечно с кем-нибудь дрался.

— Ты как Байрон, — говорил я. — Тот, чтоб не комплексовать из-за хромоты, переплыл Ла-Манш… Но пожалей вывеску.

— Байрон — своей тоже не жалел, был кулачным бойцом, — отвечал Костя.

Сходство с Байроном — хромота, дерзость, драчливость, успех у женщин и, наконец, поэтический дар — ему явно льстило. Он даже написал стихотворение «Дон Жуан»:

Вечерами по осенней хляби
Он доныне ходит по Москве
В очень серой, в очень мягкой шляпе,
В очень обезличенной тоске.

Кем он был? Испанцем иль евреем,
Или пионером новых рас?

Агасфером? Дорианом Греем?
Так ли это важно уж для вас?

Это стихи сорок шестого года. Но и через двадцать лет он писал о том же:

Обмылок, обсевок, огарок,
А все-таки в чем-то силен,
И твердые губы дикарок
Умеет растапливать он.
……
Он худший из донжуанов,
Да видимо, лучшего нет.

И вот уже дрогнули звенья:
Холодный азарт игрока,
И скука, и жажда забвенья,
И темное чудо греха.

В первые литинститутские годы он много работал, настойчиво искал свою тему и свою интонацию, обращаясь то к Северянину, то к Симонову, то к Пастернаку, то к Твардовскому. Но среди этих разнородных, разношерстных влияний уже мелькало что-то свое.

Стихотворение «Нас хоронила артиллерия…», несмотря на явные заимствования из Пастернака, многие молодые поэты знали наизусть, говорили о нем, спорили. Оно было написано от имени поколения павших. Там были строки:

Один из них, случайно выживший,
В Москву осеннюю приехал.
Он по бульварам брел как выпивший
И средь живых прошел как эхо.

В середине шестидесятых Костя по просьбе Е. Евтушенко вымарал несколько строф — и хорошо сделал. Но, странная вещь, стихотворение от этого что-то потеряло.

Той осенью сорок шестого Костя почему-то решил, что павших солдат уже забыли, что их помнят лишь матери да…

Главнокомандующий Сталин.
И, отпустив уже к полуночи

Секретарей и адъютантов,
Он видит: в дымных шлемах юноши
Свисают с обгорелых танков…

Это была какая-то странная зашоренность. Впрочем, действительность — отмена выплат за боевые ордена и праздника Победы, а также негласная высылка из Москвы увечных фронтовиков, прозванных в народе «самоварами», — развеяла Костины недолгие иллюзии. Однако с самого начала его отношение к Сталину было не одномерным. Помню, примерно тогда же мы с ним пошли на трофейный шлягер — «Девушка моей мечты». Фойе кинотеатра было украшено предвыборными транспарантами.

— Какая лучшая рифма к слову «вождь»? — спросил он беззвучно одними губами.

— «Вошь», — так же беззвучно ответил я.

Стихи «Нас хоронила артиллерия…» были сочтены в Литинституте упадническими, и поначалу дело обошлось выговором и снятием с повышенной стипендии. В следующем году он написал стихотворение, которое сыграло роковую роль в его жизни, можно сказать, перевернуло ее. Оно никогда не было напечатано, и я приведу лишь несколько запавших в память строф. Кроме меня их вряд ли кто помнит: почти никого из наших сокурсников не осталось в живых.

Мы непростительно стареем
И приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле.

Я не был славой избалован
И лишь посмертно признан был,
Я так и рвался из былого,
Которого я не любил.
Я был скупей, чем каждый третий,
Злопамятнее, чем шестой.
Я счастья так-таки не встретил,
Да, даже на одной Шестой!
……..
Но даже в тех кровавых далях,
Где вышла смерть на карнавал,
Тебя, народ, тебя, страдалец,
Я никогда не забывал.

Неожиданное сочетание Северянина с Твардовским. Но каких только коктейлей не знала наша поэзия! Однако в этом стихотворении уже прорезалась своя тема!

Когда, стянувши боль в затылке
Кровавой тряпкой, в маяте,
С противотанковой бутылкой
Я полз под танк на животе,

Не месть, не честь на поле брани,
Не слава и не кровь друзей,
Другое смертное желанье
Прожгло мне тело до костей.

Была то жажда вековая
Кого-то переубедить,
Пусть в чистом поле умирая,
Под гусеницами сгорая,
Но правоту свою купить.

Я был не лучше, не храбрее
Моих орлов, моих солдат,
Остатка нашей батареи,
Бомбленной шесть часов подряд.

Я был не лучше, не добрее,
Но, клевете в противовес,
Я полз под этот танк евреем
С горючей жидкостью «КС».

Борис Слуцкий, опровергая ходячее среди темных слоев мнение — власти всемерно подпитывали его — мол, евреи не воевали, — написал в середине пятидесятых замечательные стихи «Про евреев»:

Иван в окопе воюет,
Абрам в рабкопе ворует.
Я все это слышал с детства,
И скоро совсем постарею.
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

И в других стихах Слуцкого эта тема зазвучала мощно,

широко и убедительно. Но все-таки задолго до Слуцкого к ней прикоснулся Константин Левин, за что и поплатился.

На Костино стихотворение нашим сокурсником была написана пародия. Приведу ее первую строфу:

Мы непростительно стареем,
Перебиваясь кое-как.
Что вам сказать? Я был евреем,
Но это видно даже так…

Что, кстати сказать, неверно: внешность у Кости была среднеевропейская.

Года через полтора на институтском вечере поэзии Костя прочел эти стихи, и тут студенты — члены партбюро почуяли: пришел их звездный миг. В «Золотом теленке» Ильфа и Петрова есть фраза: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами».

И вот эти партийные студенты, как на подбор, бездари, поняли, что начавшаяся антикосмополитическая, а по сути юдофобская кампания открывает им путь в большой, как считали они, мир Союза писателей, где они могут сразу стать фадеевыми и софроновыми. Им это не удалось — и поделом. Подлость не всегда оплачивается, и сегодня имена тех институтских громил никому ничего не скажут.

Не исключаю, что помимо карьерных их переполняли и другие чувства. Безусловно, Костя их раздражал и своей франтоватостью, и байронизмом, и несомненным успехом у студенток всех пяти курсов.

Итак, партбюро постановило изгнать Константина Левина из института и комсомола, и в тот же день навязало свою волю комсомольскому собранию. За долгую жизнь мне пришлось повидать немало подобных шабашей. Должен сказать: редко кто держался с таким достоинством, как Костя Левин на этом собрании. Он сказал, что не чувствует за собой никакой вины, чем еще пуще обозлил громил и карьеристов. Они привыкли к униженным покаяниям. Совсем недавно они изгнали из института защищенных кандидатскими степенями и профессорскими званиями преподавателей-евреев, и, наслаждаясь их жалкими самооговорами, радостно над ними глумились. А нам, сидевшим в зале студентам — евреям ли, полуевреям или просто нормальным людям, было горько и стыдно за себя и за этих заслуженных людей.

А тут перед всем собранием стоял ничем не защищенный

инвалид войны и спокойно утверждал свою правоту. И это многих из нас обнадеживало. Тогда, в сорок девятом, я Костю защитить не мог, но мучившие меня чувства откликнулись позднее. С 1966 года я подписывал, начиная с дела Даниэля и Синявского, все письма в защиту осужденных. В марте 1977 года, когда за защиту академика А.Д. Сахарова меня исключали из Союза писателей и его секретари бесновались не меньше активистов сорок девятого года, пример Кости Левина во многом мне помог.

Гражданское мужество, с которым держался Костя Левин, по тем временам было неслыханным, и оно запомнилось многим. Поэт Евгений Винокуров спустя лет сорок рассказывал об этом моей жене, с которой тогда работал в «Новом мире», и всё удивлялся, как у Кости достало сил выдержать такое: ведь его никто не защищал.

Однако это было не совсем так. Один человек за Костю все же вступился. Это был заместитель директора по хозчасти, участник гражданской войны, полковник Львов-Иванов. Ходили слухи, что первую фамилию ему присвоил за храбрость то ли Фрунзе, то ли Троцкий.

Когда речь зашла об исключении Кости из комсомола, он сказал:

— Я так понимаю: главную обязанность советского гражданина Константин Левин выполнил — храбро воевал, потерял ногу. А в стихах не разбираюсь, со стихами решайте без меня.

Деятелей партбюро это огорошило, и, чтобы не создавать себе лишних сложностей в высших инстанциях, они согласились на строгий выговор с формулировкой: достоин исключения.

Окрыленный неожиданным поворотом дела, Костя попытался восстановиться в институте и на другой день отправился в Союз писателей. Там сказали:

— Принесите стихи — разберемся.

Однако стихи о том, что он был евреем и не встретил счастья даже на одной Шестой, нести было бессмысленно. А таких стихов, которые могли бы понравиться в Союзе писателей, у Кости не было. И тогда он за несколько дней написал стихотворений двадцать. По оснастке, рифмам и ритму они были неплохи, чего никак не скажешь о содержании. Одно, помню, посвящалось речи Вышинского в ООН:

Ее развертывает, словно знамя,
Прозревший гоминдановский солдат.

— Окстись, — сказал я Косте, когда он показал мне эти

строки. — Где и в какой газете гоминдановский солдат найдет эту речь? И, если для тебя она не знамя, почему она знамя для него?

Другое стихотворение было о Генеральном секретаре французской компартии:

Свободой бредит город вечно юной,
Не захороненной на Пер-Лашез,
Витающей над съездовской трибуной,
Когда устало к ней идет Торез.

Примерно о том же были и остальные стихи. Прочитавший их Лев Ошанин резонно спросил:

— А почему он прежде писал другое? Это заставляет сомневаться в искренности вновь представленного.

Целый год без стипендии, с просроченной пропиской, несколько раз попадая в милицию, Костя ходил в Союз писателей, пока его не принял Алексей Сурков, тогдашний второй секретарь, посочувствовал ему, но попросил принести другие стихи, более нейтральные.

Костя их тоже написал, но прошло не меньше года, пока Сурков, а он, когда мог, пытался помочь, — было и это в нем, было! — преодолев немалое сопротивление писательских и литинститутских функционеров, восстановил Костю на заочном отделении.

И тут — странная вещь — Костя еле-еле, на одни тройки сдал пропущенные сессии и госэкзамены. Что-то в нем сломалось. Костюм и обувь он по-прежнему чистил тщательно, а вот охота к учебе и даже к чтению — а ведь какой был книгочей! — у него пропала: началась стойкая абулия — болезнь воли.

Мы Костей были близкими друзьями. Загадка его судьбы мучит меня до сих пор. Я все еще пытаюсь понять, что же его сломило.

Фронт? Но там он себя показал храбрецом: воевал в самом опасном роде войск, заработал за четыре месяца два ранения и два ордена (на самом деле — три; но представление на третий — Боевое Красное Знамя — за то, что он из своей крохотной пушечки подбил немецкий «Тигр», пока Костя валялся в госпиталях, затерялось).

Ампутация ноги? Протез, в самом деле, вечно натирал, культя без конца гноилась, несколько раз Костя ложился в больницы, но все-таки до самой смерти ни разу не вышел из дома на костылях.

Комсомольское собрание? Но он держался на нем так, что на долгие десятилетия стал недостижимым примером для многих и

казнь эту выдержал.

Конечно, и фронт, ранение, и шабаш сорок девятого отняли у него немало сил и нервной энергии, хотя Костя никогда не позволял себе распускаться и ни разу даже в самых горячих спорах не повышал голоса.

И все-таки мне кажется, что главную роль в этом надломе сыграли двадцать написанных впопыхах для Союза писателей стихотворений. Нельзя писать то, во что не веришь, во что не вкладываешь душу. Особенно это опасно в молодости, когда в твоей работе еще нет прочного задела, и тебе еще не на что опереться. Стихи Ахматовой о Сталине не сломали ее, хотя крови ей — свидетельствую лично — попортили немало.

Для своего диплома Костя отобрал с десяток стихотворений. Их высоко оценил Ярослав Смеляков. Он привел Костю к Симонову, тогда главному редактору «Литературной газеты». Симонов тоже написал рецензию на Костин диплом. Но даже эти два отзыва (а Симонов в тот год был председателем государственной экзаменационной комиссии) с трудом преодолели упорство литинститутского начальства, и Косте за дипломную работу еле-еле натянули тройку.

Летом пятидесятого года Симонов послал Костю в командировку по тем местам, где воевал Костин взвод, с заданием написать поэму. Костя написал первый вариант вещи. Ее редактировал Ярослав Смеляков. Но вскоре Смелякова арестовали. Симонов тоже ее редактировал, несколько раз встречался с Костей, но, в конце концов, должен был признать, что поэмы не получилось.

Зарабатывал Костя на жизнь в литературной консультации Союза писателей. В те времена каждый пишущий стихи мог отправить в комиссию по работе с молодыми свои произведения и получить развернутый ответ. Константин Левин считался мастером таких ответов. Он внимательно читал тексты и, представляя, что за каждым стоит человеческая судьба, анализировал их с присущей ему логикой и доброжелательностью.

В этой комиссии его ценили, любили: недаром работавшая в литературной консультации Людмила Георгиевна Сергеева после Костиной смерти составила книгу его стихов, что сделать было вовсе не просто. Многие стихи не были Костей записаны. Некоторые из них я диктовал по памяти моему другу, редактору Костиной книги, Виктору Фогельсону. Без его стараний и самоотверженности Людмилы Сергеевой этот посмертный сборник не вышел бы.

Много помогал Косте и Борис Слуцкий: доставал всякие

составительские работы, литературные записи, даже однажды уговорил дирекцию Театра на Таганке заключить с Костей договор на инсценировку об Отечественной войне. Но Костя к работе даже не приступил. Деньги пришлось возвращать. И тогда огорченный Слуцкий сказал свою знаменитую фразу:

— Еврейский народ настолько обрусел, что даже создал своего Обломова.

Последние три года Костя провел на Каширке. У него открылась редкая для мужчин болезнь — рак грудной железы. Операция не помогла, многочисленные сеансы химиотерапии — также, и он умер в конце 1984 года. Ему было шестьдесят лет.

От Константина Левина ожидали многого. О том, что он смог сделать, сложись его жизнь иначе, о его своеобразном даровании лучше всего, на мой взгляд, скажет одно восьмистишье. Оно вошло как в книгу, так и в евтушенковские «Строфы века».

Эти восемь строк я впервые услышал не от Кости, а от Бориса Слуцкого. В году шестьдесят девятом неожиданно утром Слуцкий пришел к нам домой, прочел их наизусть и сказал:

— Такие стихи никто другой не напишет. Я их запомнил сразу.

В устах Бориса это была высшая похвала.

Был я хмур и зашел в ресторан «Кама».
А зашел почему — проходил мимо.
Там оркестрик играл и одна дама
Всё жрала, всё жрала посреди дыма.

Я зашел, поглядел, заказал, выпил.
Посидел, погулял, покурил, вышел.
Я давно из игры из большой выбыл
И такою ценой на хрена выжил…